

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 172.1:321

Владимир Карлович Кантор

Государственный Университет – Высшая Школа Экономики (Москва)

О СОШЕДШЕМ С УМА РАЗУМЕ:

К ПОНИМАНИЮ КОНТРУТОПИИ Е. И. ЗАМЯТИНА «МЫ»

«Индивидуальный исследовательский проект В. К. Кантора, профессора философского факультета ГУ-ВШЭ № 10-01-0033 «Крушение кумиров: критический пафос русской философии» выполнен при поддержке Программы «Научный фонд ГУ-ВШЭ».

Статья посвящена философским аспектам антиутопических моделей в литературе; автор предлагает различать не только утопии и антиутопии, но и выделять особую модель жанра – контрутопию. Этот жанр рассматривается на примере романа Евгения Замятина.

Ключевые слова: контрутопия, утопия, антиутопия, Замятин, роман «Мы».

Мы живем одним настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего. <...> Мы растем, но не созреваем. <...> Мы подобны тем детям, которых не приучили мыслить самостоятельно.

П. Я. Чаадаев. Первое философическое письмо

Подступы к теме

Начну с того, что роман «Мы» я прочитал первый раз (в советское время) по-английски. Русского варианта достать не мог. Друзья брали книгу почитать. Помню, как я передавал роман своему другу Владимиру Кормеру. Мы решили пересечься на улице, но страх перед всевидящим оком был таков, что мы зашли в магазин, прислонили портфели к прилавку, будто передаем друг другу водку и закуску, и я передал ему «Мы». Мой приятель сказал: «Мы как два шпиона. Пожива для гебешников». Но «хранители» – в романе вариант чекистов – нас не арестовали, водки мы выпили. Впрочем, роман читался запоем и был покрепче любой водки.

Что же мы искали в этом романе, написанном в 1920–1921 гг. и появившемся тогда в печати лишь на Западе и в переводе? Мы были наслышаны о том, что это великая антиутопия, изображающая тоталитаризм, всю сталинскую систему, что следом за ним шли великие романы Хаксли «О дивный новый мир» и Оруэлла «1984», что Замятин проложил путь к созданию так называемой «антитоталитарной антиутопии». Кстати, русский текст романа был опубликован спустя лет тридцать после английского. Так что шла как бы непрерывная линия от Томаса Мора через Замятина до Оруэлла и англоязычных (американских) фантастических романов XX века (называемых литературоведами своеобразными антиутопиями) – Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту», Клиффорда Саймака «Поколение, достигшее цели», Айзека Азимова «Конец вечности» и, как отголосок, роман Станислава Лема «Возвращение». Об Уэллсе я тогда не думал, хотя, начав читать более подробно тексты 20-х советских годов, увидел, что современники Замятина родословную романа «Мы» вели от фантастических романов Уэллса – «Война миров», «Когда спящий проснется», «Остров доктора Моро» и т. д. (которые можно в известном смысле

тоже назвать либо романами-предупреждениями, либо антиутопиями). Да и Замятин, что существенно, был автором книги об Уэллсе. А о себе и своих соотечественниках он высказывался в контексте уэллсовской антиутопии: «Мы, петербургские Р.С.Ф.Р.-ные люди 1921 г., мы – мафусаилы, мы как спящий Уэллса, проснулись через 100 лет, и нам так странно читать о своей милой и слепой молодости – 100 лет назад, в 1914 году»¹.

Но мостом от Уэллса к новым английским антиутопиям оказался русский роман Замятина. Оруэлл в 1946 г. очень точно изложил сюжет «Мы», вычлняя, конечно, темы, близкие ему: «В романе Замятина в двадцать шестом веке жители Утопии настолько утратили свою индивидуальность, что различаются по номерам. Живут они в стеклянных домах (это написано еще до изобретения телевидения), что позволяет политической полиции, именуемой «Хранители», без труда надзирать за ними. Все носят одинаковую униформу и обычно друг к другу обращаются либо как «номер такой-то», либо «юнифа» (униформа). Питаются искусственной пищей и в час отдыха маршируют по четверо в ряд под звуки гимна Единого Государства, льющиеся из репродукторов. В положенный перерыв им позволено на час (известный как “сексуальный час”) опустить шторы своих стеклянных жилищ. Брак, конечно, упразднен, но сексуальная жизнь не представляется вовсе уж беспорядочной. Для любовных утех каждый имеет нечто вроде чековой книжки с розовыми билетами, и партнер, с которым проведен один из назначенных сексчасов, подписывает корешок талона. Во главе Единого Государства стоит некто, именуемый Благодетелем, которого ежегодно переизбирают всем населением, как правило, единогласно. Руководящий принцип Государства состоит в том, что счастье и свобода несовместимы. Человек был счастлив в саду Эдема, но в безрассудстве своем потребовал свободы и был изгнан в пустыню. Ныне Единое Государство вновь даровало ему счастье, лишив свободы»².

Но при этом странно читать пассаж Оруэлла в той же рецензии: «Вероятно, однако, что Замятин вовсе и не думал избрать советский режим главной мишенью своей сатиры. Он писал еще при жизни Ленина и не мог иметь в виду сталинскую диктатуру, а условия в России в 1923 году были явно не такие, чтобы кто-то взбунтовался, считая, что жизнь становится слишком спокойной и благоустроенной. Цель Замятина, видимо, не изобразить конкретную страну, а показать, чем нам грозит машинная цивилизация»³. **Какая машинная цивилизация, когда страна в разлухе? Оруэлл, на мой взгляд, совершенно не увидел и не понял Замятина.**

Впрочем, внешний рисунок будущего общества был взят из технизированной Англии, где Замятин прожил не один год, сам был инженер-кораблестроитель, построил там для России несколько ледоколов, написал резкий сарказм «Островитяне» на английский мир, где жизнь подчинена строгим регламентам. О запрещенном советской цензурой романе «Мы» Шкловский замечал, связывая его с «английской» повестью: «По основному заданию и по всей постройке вещь теснее всего связана с “Островитянами”. <...> Строй страны – это осуществленный “Завет принудительного спасения” викария Дьюли»⁴. Но в «Островитянах» сюжет строится на насмешке над принудительностью пуританской религии. В романе «Мы» основа движения романа в том, что герой строит космический корабль «Интеграл» для прорыва в иные миры, жители передвигаются по городу-государству на летающих аппаратах, иными словами, техника здесь играет немалую роль, как и заметил Оруэлл. Но у Замятина техника лишь метафора, образ насильственной идеологии. Это многие понимали. Любопытно, что в глазах советских писателей Замятин был абсолютный англоман. Напомню строчки Маяковского:

Что пожелать вам, сэр Замятин?

Ваш труд заранее занятен.

Критиковать вас не берусь,

Не нам судить занятие светское,

Но просим помнить, слава Русь,
Что Русь – уж десять лет! – советская.

Антисоветчика в нем тогда не очень видели, видели просто несоветского писателя с английским флером. В этом контексте очень трудно дать жанровое определение роману Замятина. Одно ясно: смотреть на него надо в контексте его времени, не забегая в историческое (сталинское, тоталитарное) будущее, ведь роман был написан еще накануне НЭПа. В 1920 вышла книга Уэллса «Россия во мгле», которую Замятин хорошо знал и поминает в своих статьях (в своем переводе) как «Россия в сумерках». Речь в ней шла о стране, где разрушены в Гражданскую войну города, сельское хозяйство, цивилизация практически уничтожена, техники нет. Уэллс, в отличие от Оруэлла, это видел, прекрасно понял и написал:

«Для западного читателя самое важное – угрожающее и тревожное – состоит в том, что рухнула социальная и экономическая система, подобная нашей и неразрывно с ней связанная. <...> Дворцы Петрограда безмолвны и пусты или же нелепо перегорожены фанерой и заставлены столами и пишущими машинками учреждений нового режима, который отдает все свои силы напряженной борьбе с голодом и интервентами. В Петрограде было много магазинов, в которых шла оживленная торговля. В 1914 году я с удовольствием бродил по его улицам, покупая разные мелочи и наблюдая многолюдную толпу. Все эти магазины закрыты. Во всем Петрограде осталось, пожалуй, всего с полдюжины магазинов. Есть государственный магазин фарфора, где за семьсот или восемьсот рублей я купил как сувенир тарелку, и несколько цветочных магазинов. Поразительно, что цветы до сих пор продаются и покупаются в этом городе, где большинство оставшихся жителей почти умирает с голоду и вряд ли у кого-нибудь найдется второй костюм или смена изношенного и залатанного белья. <...> Я не уверен, что слова “все магазины закрыты” дадут западному читателю какое-либо представление о том, как выглядят улицы в России. Они не похожи на Бонд-стрит или Пикадилли в воскресные дни, когда магазины с аккуратно спущенными шторами чинно спят, готовые снова распахнуть свои двери в понедельник. Магазины в Петрограде имеют самый жалкий и запущенный вид. Краска облупилась, витрины треснули, одни совсем заколочены досками, в других сохранились еще засиженные мухами остатки товара; некоторые заклеены декретами; стекла витрин потускнели, все покрыто двухлетним слоем пыли. Это мертвые магазины. Они никогда не откроются вновь»⁵.

Стоит сказать (и даже подчеркнуть это), что постреволюционную разруху видел и Замятин. В 1919 г., за год до визита Уэллса в Советскую Россию, он писал: «Партия организованной ненависти, партия организованного разрушения делает свое дело уже полтора года. И свое дело – окончательное истребление трупа старой России – эта партия выполнила превосходно. <...> Но не менее ясно, что организовать что-нибудь иное, кроме разрушения, эта партия, по самой своей природе, не может. К созидательной работе она органически не способна⁶. <...> Взяли в свои руки промышленность, развеяли по ветру прах капиталистов, выкинули “саботажников” и уже не на кого больше сваливать вину. Но промышленности нет, заводские трубы перестают дымить одна за другой, и уже официальные газеты заводят речь о концессиях, о приглашении иностранных капиталистов и иностранных “саботажников”, чтобы организовать социалистическую российскую промышленность»⁷.

Итак, «Россия во мгле». Но откуда же эта невероятная техника в романе? Скажем, аэро, которыми пользуются для передвижения по воздуху герои романа, появятся чуть позже в поэме «Летающий пролетарий» Маяковского и в «Аэлите» Алексея Толстого. В каком-то смысле это проекция утопических мечтаний новых властителей страны о всеобщей электрификации и т. п. Но эта проекция помножена на технические возможности современного мира. И прежде всего Англии. И дело тут не только в биографическом опыте Замятина.

Именно Великобритания весь девятнадцатый и начало двадцатого веков была образцом для развивающегося европейского человечества. Ей подражали и Франция, и Германия, и Россия. Англоманство русских интеллектуалов от А. Дружинина до М. Каткова хорошо известно. Как отмечали исследователи, у Достоевского (влюбленного в Шекспира) едва ли не единственный положительный персонаж среди иностранных героев его романов – англичанин Астлей (роман «Игрок»). Но и неприятие Англии во вполне апокалипсических тонах – как ужаса свершившейся утопии – мы находим у Достоевского.

В «Зимних заметках о летних впечатлениях» он описывает, как достижения разума могут превратиться в кошмар и безумие, нарисовав Кристальный дворец на выставке в Лондоне как образ обманного, едва ли не антихристового завершения мира. Этот его образ будет своего рода введением в мир прозрачно-кристальных домов-ульев, где живут персонажи Замятина в его невероятном мире. Для сравнения напомним описание замятинского города-государства: «Непреложные прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию сероголубых шеренг». А вот Достоевский: «Кристальный дворец, всемирная выставка... Да, выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были независимы, но вам отчего-то становится страшно. Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал? – думаете вы; – не конец ли тут? не это ли уж и в самом деле, “едино стадо”. Не придется ли принять это, и в самом деле, за полную правду и занеметь окончательно? Все это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара, – людей, пришедших с одной мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, в очию совершающееся. Вы чувствуете, что много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала, то есть не принять существующего за свой идеал...»⁸

Но вот тут и была проблема – не принять существующего за свой идеал. А идеал, казалось, в первые годы после революции был близок к осуществлению. Военный коммунизм означал, с одной стороны, разруху, полный коллапс хозяйственной жизни, но с другой – прежде несбыточные мечтания утопистов о всеобщем равенстве вроде бы становились реальностью: все были лишены собственности и прав, остались только обязанности перед государством, при этом была уверенность, что осуществляются великие планы «кремлевского мечтателя» (как назвал Ленина Уэллс), планы ГОЭЛРО, переделки природы, создание Института Труда и т. п. Вот что видел Замятин в современности. Видел, но верил ли? Поясню, почему тут важно указание на современность.

В недавнем исследовании о русской утопии говорится, что отечественным утопиям XVIII века предшествовали реформы Петра Великого. Важнее прочих были историческая реформа (реформа летоисчисления) и географическая (перенесение границы с Волги – напомним, что в эпоху Возрождения она проходила по Дону – на Урал, по Уральскому хребту, что включило и столицу Москву, и резиденцию Петербург в пределы Европы). Все это поставило Россию в сильную позицию по отношению к миру. Т. В. Артемьева приходит к следующему выводу: «В России своеобразный “всплеск” социального утопизма приходится на последнюю треть XVIII в.»⁹. Весьма любопытно заключение ее мысли: «Для российской ментальности указанной эпохи вообще характерна связь утопизма и философии истории, ибо “славное прошлое” является предпосылкой “светлому будущему”»¹⁰. Это как бы методологический ключ к пониманию социальной направлен-

ности утопий. Апотеоза великому реформатору Петру Великому, создателю «славного прошлого», произнесенная исследовательницей, предполагала и желание «светлого будущего» – позитивных утопий. Стало быть, роман Замятина означал, что очень недавнее прошлое, скорее даже, дряхлеющее настоящее было отнюдь не славным, иными словами, можно ожидать и катастрофического развития общества.

Создателем этой ситуации был человек, которого сподвижники, льстецы и враги сравнивали с Петром Великим. Много позже русские эмигранты довольно жестко развели действия Петра и Ленина. Но к моменту создания замятинского романа Бунин в «Окаянных днях» назвал Ленина «всемирным идиотом», злобно замечая, что человек, разоривший одну из величайших стран, западными интеллектуалами называется «благодетелем человечества». Действительно. Ленин стал персонажем бесчисленных интервью западных посетителей (напомню, что брошюру Уэллс «Россия в сумерках» Замятин читал). Писатель общался с Горьким, который на первых же страницах своих мемуаров рисует «сократовский лоб Ленина». Еще более важно, что Замятин, вопреки большинству критиков, хвалил роман Эренбурга «Хулио Хуренито» (написан и издан в 1921 г.), где была глава о Ленине «Великий инквизитор вне легенды», парафраз великого текста Достоевского. Замятин дает свою трактовку нового преобразователя. Образ Благодетеля, правящего Единым государством, в котором писатель сумел угадать контуры тоталитарного общества, выразительно и портретно похож на Ленина: «Передо мною сидел лысый, сократовски-лысый человек, и на лысине – мелкие капельки пота». Благодетель похож на Великого инквизитора, правда, не в изображении Достоевского, а скорее – Эренбурга. Разница в том, что Эренбург Ленина оправдывает, Замятин же прямо и недвусмысленно называет его палачом.

Что же перед нами за текст? Сатира? Злая пародия на современность? Антиутопия? А может, трагедия о загубленной личности? Все эти элементы в романе есть. Стоит для контрапункта сослаться еще на современного исследователя: «Роман Замятина “Мы” принято характеризовать как антиутопию, как произведение, носящее антисоветский характер. Но писалось оно в 1920 году, в разгар гражданской войны, когда не видно было еще будущей советской фальши, культа личности, когда не было так явно обезличивание людей (“люди-номера”), критика которого основная в романе, когда в расстрелах, в ЧК трудно еще было увидеть Хранителей, поддерживающих уже действующий строй... И потому ключ к пониманию романа “Мы”, написанного не в 30–50 гг., и не в 70 гг., надо искать не в его антисоветском характере, а в непосредственно изображенной в романе реализации утопической идеи вообще, к которой тогда стремились многие»¹¹. Думаю, автор в своем справедливом замечании тем не менее не учитывает прогностических возможностей искусства. Предвидение подобного будущего можно найти и в текстах русских дореволюционных писателей, и хотя бы в простом факте, когда Ленин фотографировался на фоне своих бесчисленных портретов.

Стоит оговорить термин, которым мы хотели бы пользоваться, обозначая роман Замятина. Следом за западными исследователями В. И. Мильдон вводит термин «контрутопия», относя его к В. Ф. Одоевскому, которого он считает предшественником Замятина¹². Это именование представляется мне продуктивным.

Попытка классификации

Я бы попробовал предложить свою классификацию терминов.

1. У-топия – это то, чего нет в реальности, но что представляется желательным, хотя и неосуществимым (это Т. Мор, Т. Кампанелла, Сирано де Бержерак, М. Щербатов. У. Моррис, А. Богданов и т. д.). Платон, создавая свое «Государство», создавал некий проект, то есть то, что в принципе должно или может исполниться, реализоваться в реальной жизни. Древнегреческий мыслитель апеллировал не к будущему, а к прошлому. Как мы

знаем, тоталитарные деспотии тоже учитывали опыт восточных деспотий. Платон думал о реальной возможности построения, опыт прошлого (Египта, к примеру, или архаической Греции) был ему опорой. Это отнюдь не было утопией, хотя и дало толчок к появлению этого жанра.

В своей «Утопии» Томас Мор отвечал самым резким образом на этот знаменитый диалог Платона. Его «Утопия» это рассказ о невозможности проекта. Мор дал, на мой взгляд, ироническое изображение принципов платоновского государства или, по крайней мере, рецепцию его этицистских идей (имя Платона он не раз поминает на полях своей рукописи), которого нет и быть не может. Намеков на это много. После слов об устройстве Утопии: «Двери двустворчатые, скоро открываются при легком нажиме и затем, затворяясь сами, впускают кого угодно – до такой степени у утопийцев устранена частная собственность» (с. 273–274). Переводчик трактата и автор комментариев А. И. Малеин так поясняет это место: «В примечаниях на полях оригинала сказано: “Это отзывает Платоновым коммунизмом”. Ср. “Государство”, III, 41b»¹³. Книга не случайно в подзаголовке именуется забавной. Она, конечно, не просто рецепция, а пародийная рецепция на «Государство» Платона¹⁴. Но в ней были и свои пожелания идеального построения, хотя и без особой веры в эту возможность.

В. И. Мильдон ссылается на слова А. Кархенгайма («Вечная утопия». СПб., 1902): «В государстве Платона справедливость, исполнение гражданами своих обязанностей по отношению к государству составляет основной принцип; в “Утопии” же Мора все клонится к исполнению государством своих обязанностей по отношению к обществу»¹⁵. Это было замечательное, но в те времена мало исполнимое пожелание – где бы то ни было. Место, которого нет.

2. Анти-утопия – это реакция на утопические проекты, страх, что они могут осуществиться. Антиутопия рисует то, вызывает ужас, как возможность, как то, что, не дай Бог, явится в реальности. Хотя все авторы антиутопий прекрасно понимают, что их тексты не более, чем игра ума и заявление своей мировоззренческой позиции. Можно назвать «Город без имени» В. Одоевского, «Сон смешного человека» Ф. Достоевского, «Робур-завоеватель» Жюль Верна, «Человек-невидимка» Г. Уэллса. «Котлован» и «Ювенильное море» А. Платонова и т. д.

3. Контр-утопия – явление новое, еще не очень изученное. Поэтому предлагаю свою трактовку. На мой взгляд, контрутопия строится как реакция на то, что уже существует в жизни, в доведении этих жизненных интенций до логического конца. Мне приходят в голову всего несколько текстов контрутопий. Это «Три разговора» Вл. Соловьева, где контрутопией является включенная в трактат «Краткая повесть об антихристе». В XX веке это «Мы» Замятина, «1984» Оруэлла, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Бредбери, «Обитаемый остров» братьев Стругацких.

Все эти авторы опирались не на полемику с некоей утопией, а проецировали реальные жизненные тенденции. Военный коммунизм – подоснова романа Замятина, Советский Союз – основа кошмара Оруэлла, утвердившееся массовое общество – то, что гротескно изобразил в своей контр-утопии Бредбери, доведенный до безумия мир тоталитарного человечества у Стругацких.

Иго или безумие разума

Обычно герой попадает в страну утопию извне, у Замятина явно новый ход – речь изнутри утопии, рассказ от лица героя – жителя этой утопии. Это перенесение говорит о том, что утопия уже не воображаемый, а почти свершившийся факт. Надо учесть, что герой строит некий космический корабль «Интеграл», должный проникнуть в сопредельные части вселенной. Герой не раз произносит слова о необходимости строить жизнь по законам разума. Сошлюсь опять на Мильдона: «В русских литературных утопиях XIX в. очень силен рационалистический дух, уповающий на жизнь по заранее определенным

условиям, охватывающим все стороны человеческого бытия. Е. Замятин в “Мы” развил это представление, сатирически фантазируя на тему, непременно в отечественной утопии»¹⁶. Нечто похожее произносит и И.В. Кондаков, говоря, что в своем романе Замятин изображает «иго разума»¹⁷. И, приводя последние слова героя, считает, что это издевка Замятина: «Только в самом конце романа, уже после операции по удалению фантазии, герой вновь, как и в начале своего рассказа, записывает: “И я надеюсь – мы победим. Потому что разум должен победить”. Это последняя фраза романа “Мы”: индивидуальное сознание героя без остатка растворяется в “коллективном разуме” масс; надежда на всеобщую логику сменяется уверенностью в ней»¹⁸. Но Замятин знал, что разум не может быть коллективным. Коллективным может быть только безумие. И так ли рационалистичен Замятин в своей контр утопии? Скорее, у него демонстрация иррационализма, до которой может довести рационализм.

Карл Шмитт писал в 1923 г. о «Пролеткульте» как «замечательном случае радикальной диктатуры воспитания». И добавлял: «Но этим еще не объясняется, почему именно в России идеи промышленного пролетариата современных больших городов смогли обрести такую власть. Причина в том, что здесь действовали также новые, иррационалистические мотивы применения силы. Не рационализм, который из-за крайнего преувеличения превращается в свою противоположность и предается утопическим фантазиям, а новая оценка рационального мышления вообще, новая вера в инстинкт и интуицию, которая устраняет любую веру в дискуссию»¹⁹.

Кому как не британцу Замятину, строителю ледоколов и автору «Островитян», это было знать. Он и знал. И понимал.

«Поражение, мученичество в земном плане – победа в плане высшем, идейном. Победа на земле – неминуемое поражение в другом, высшем плане»²⁰, – писал он. Разум никогда не побеждал, побеждало безумие. Разум Сократа привел его к чаше с цикутой, которую его заставил выпить сошедший с ума «коллективный разум» афинянин²¹. У толпы вообще нет разума. Не случайно в новом обществе так ненавистен Кант, который показал возможности чистого разума, писал, что пользование собственным умом есть выход человека из эпохи несовершеннолетия. Иными словами, вне этой кантовской идеи человек инфантилен. «Да, этот Тэйлор был, несомненно, гениальнейшим из древних. Правда, он не додумался до того, чтобы распространить свой метод на всю жизнь, на каждый шаг, на круглые сутки – он не сумел проинтегрировать своей системы от часу до 24. Но все же как они могли писать *целые библиотеки о каком-нибудь там Канте* (курсив мой. – В. К.) – и едва замечать Тэйлора – этого пророка, сумевшего заглянуть на десять веков вперед»²². Заметим, что «кремлевский мечтатель» ненавидел Канта, но проповедовал тэйлоризм, где разум заменен статистикой и повторяемостью движений.

Именно одного из основателей философии рации отвергает новый мир. И это не случайно, поскольку Кант полагал, что пользоваться разумом человек может только сам: «*Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! – имей мужество пользоваться собственным умом! – таков, следовательно, девиз Просвещения*»²³. Об инфантилизме как обязательном условии тоталитаризма писал Карл Манхейм. Это важнейшее прозрение Замятина.

У Замятина есть небольшие рассказы: «Мамонт», «Пещера», «Дракон», о том, как люди после революции превращаются в троглодитов. Откуда же разум в государстве Благородетеля? Можно пойти по вульгарному пути, предположив, что троглодиты те, кто за кремлевской стеной, а машину строят те, кто внутри.

Накануне романа «Мы» в 1919 г. он пишет статью «Завтра», где очень четко расставляет акценты. Он не против будущего, но он реалист, или, если угодно, как он сам себя называл, «неореалист». Поэтому главное оружие свободного человека, по его мнению, – это разум, это слово, т. е. Логос. Он выступает как наследник русской интеллигенции, выраставшей на текстах классической филологии, понимавшей ценность слова. Приведу слова Аверинцева: «Слово «филология» состоит из двух греческих корней. «Филейн» означает «любить». «Логос» означает «слово», но также и «смысл»: смысл, данный в слове и неотделимый от конкретности слова. Филология занимается «смыслом» – смыслом человеческого слова и человеческой мысли, смыслом культуры, – но не нашим смыслом, как это делает философия, а смыслом, живущим внутри слова и одушевляющим слово. Филология есть искусство понимать сказанное и написанное»²⁴.

В этом контексте, думаю, стоит прочесть слова Замятина, воспевшего не «иго разума», но его величие и его трагедию. Вот его текст: «Единственное оружие, достойное человека – завтрашнего человека – это слово. Словом русская интеллигенция, русская литература – десятилетия подряд боролась за великое человеческое завтра. И теперь время вновь поднять это оружие. Умирает человек. Гордый homo erectus становится на четвереньки, обрастает клыками и шерстью, в человеке – побеждает зверь. Возвращается дикое средневековье, стремительно падает ценность человеческой жизни, катится новая волна еврейских погромов. Нельзя больше молчать. <...> На защиту человека и человечности зовем мы русскую интеллигенцию. Наше обращение не к тем, кто не приемлет сегодня во имя возврата к вчерашнему; наше обращение не к тем, кто безнадежно оглушен сегодняшним днем; наше обращение к тем, то видит далекое завтра – и во имя завтра, во имя человека – судит сегодня»²⁵.

В этом тексте «мы» – это вымирающие единицы. В романе «мы» – стройно и грозно марширующие колонны.

Почему вдруг «мы»?..

Обычно, говоря о замятинском романе, вспоминают бесконечное «мы» поэтов Пролеткульта. Однако тема «я» и «мы» была давней темой русской мысли. Не будем вспоминать споры славянофилов и западников. Но Чаадаева, мыслителя, от которого пошла русская философская мысль, который стал родоначальником самокритической направленности отечественного самосознания, миновать нельзя. Чаадаев в своих «Философических письмах» говоря о России как некоей культурно-исторической общности, себя от России при этом не отделял. Постоянное его слово в рассказе о русских проблемах – «мы» («мы никогда не шли об руку с другими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода...»²⁶). Такая позиция была расценена правительством и обществом как безумие. Вообще, как ни странно, в российских самокритических по отношению к культуре текстах часто используется это патриотическое местоимение, но с негативно-аналитическим оттенком, вплоть до романа Замятина «Мы». Соответственно, возникала и ярость соплеменников, мол, мы не такие. Серебряный век, годы становления Замятина как писателя, обсуждал чаадаевские проблемы, тогда впервые был издан Гершензоном двухтомник Чаадаева, миновать его тексты Замятин не мог.

Стоит еще указать на эпоху становления народничества, из которого вырос большевизм. Как напомнил Н. Валентинов, еще в 70-х гг., характеризуя, деревенскую Русь, Глеб Успенский сравнил ее со скопищем плывущей по морю воблы, показав отсутствие в крестьянстве «я»²⁷. Валентинов цитирует Успенского: «Однородное племя, живущее какой-то сплошной жизнью, какой-то коллективной мыслью и только в сплошном виде доступное пониманию. Отделить из этой миллионной массы единицу – дело невозможное»²⁸.

Но, продолжает Валентинов, будучи тогда марксистом, к 1908 г. (время действия его рассказа) он уже видел новые варианты отказа от «я» и замену его в человеческом сознании обобщением «мы». В политической жизни XX века уже он видел «радостно ощу-

щаемый выход из своего узкого “я” в широкий мир коллективной души»²⁹. Он очень тесно общался тогда с Андреем Белым, которому и рассказал свои соображения. Реакция Белого была резка и моментальна. Он ответил картинкой будущей жизни, в которой угадывается схема замятинского романа: «Вижу дортуары, тысячи, сотни тысяч, миллионы кроватей, ряд за рядом уходят куда-то в бесконечность. На кроватях спят “мы”. У всех одного и того серого цвета одеяло. Одинакового цвета ночные туфли, одного и того же вида столик у кровати, у всех одинаковые сновидения. Чудовищная машина наделала миллионы одинаковых кукол и вложила в них подобие души. <...> Заявляю: среди “мы” я не буду. В дортуары на кровать, под соответствующим номером³⁰ мне отведенную, не пойду»³¹.

Эта же тема звучит в знаменитом событийном романе Белого «Петербург», где герой возмущается, что ему предлагают быть не “я”, а “мы”. Здесь мы можем найти любопытные сопращения. Не раз справедливо говорилось, что «Петербург» с его темами и проблемами нужно рассматривать в контексте тем и образов Достоевского. Скажем, изображение Белым Невского проспекта весьма напоминает изображение Достоевским Кристального дворца, ужас перед толпой. К этому стоит добавить еще одно сближение: Замятин считал себя в области формы учеником Андрея Белого, тексты которого, особенно «Петербург», где был изображен мир «нумерованной циркуляции», знал очень хорошо, как и положено талантливому ученику. В положительном – и угрожающем – контексте слово «мы» задолго до Пролеткульта прозвучало у Блока: «да скифы, да азиаты мы!». Тут, разумеется, номеров не было, была стихия. Но именно стихию «мы» и брали в Едином Государстве романа под контроль номерами. «Я» менее стихийно, чем «мы», ибо «мы» существует вне разума. В первобытном стаде, подчиняясь правилам стада, роевому принципу, а в развитом обществе существует как нечто идеологически заданное.

Поразительно, что самые первые строчки романа «Мы» как бы отрицают романность, художественность предлагаемого читателю текста: «Я просто списываю – слово в слово – то, что сегодня напечатано в Государственной Газете». Разумеется, это голос героя, а не автора. Герой выражает вроде бы новое мировоззрение, удивительно совпадающее с определенной жизнестроительной концепцией начала 20-х годов: «Я, Д-503, строитель *Интеграла*, – я только один из математиков Единого Государства. Мое привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю – точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это “МЫ” будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет – верю и знаю». Такова же была и позиция идеологов левого коммунизма, полагававших, что жизнь становится прекрасной как поэма. Поэтому и нечего сочинять!

Стоит привести «Писательскую памятку» Н. Чужака, как бы квинтэссенцию футуристической и лэфовской идеи «литературы факта», говорящего, заметим, от лица «мы»: «Новая литература – это и есть *литература утверждения факта*. <...> Литература есть такой же осколок жизни, как и всякий другой участок. **Мы** не мыслим себе отрыва писателя от того предмета, о котором он пишет. **Нам** смешно сейчас всякое воспевание со стороны, и **нас** не убеждает даже та сатира, объект которой не подвергался предварительно определенному воздействию со стороны сатирика. **Мы** требуем *строительной увязки* писателя с темой»³² (выделено мной. – В. К.).

Можно вообразить Единое Государство Замятина как авангардистский проект. Авангард – это система упрощения высокой культуры. Лэфовец Михаил Левидов в январе 1923 г. писал: «Полтора года после Петра – один Пушкин и 90 % безграмотных. Нет, довольно! Противоестественное уродство пора прекратить. Вопиющему уродству не должно быть более места. Банку музейную, где в поту, слезах и крови, как лебедь, горделивая и белоснежная, плавала безмятежно культура, нужно разбить»³³. И заключал: «Достоевского в музей, а Россию из музея, из банки со спиртом – в живую жизнь. Вот где смысл

и значение организованного упрощения культуры, которое осуществляет революция»³⁴. Простодушие и откровенность замечательные. Уничтожение культуры воспринимается как заслуга. Но это и есть позиция Единого Государства. Вот слова героя: «К счастью, допотопные времена всевозможных шекспиров и дostoевских – или как их там – прошли, – нарочно громко сказал я».

Что же делают поэты Единого Государства? Об этом тоже существует издевательски-сатирическое описание (словами героя, разумеется): «Величественное целое – наш Институт Государственных Поэтов и Писателей. Я думал: как могло случиться, что древним не бросалась в глаза вся нелепость их литературы и поэзии. Огромнейшая великолепная сила художественного слова – тратилась совершенно зря. Просто смешно: всякий писал – о чем ему вздумается. Так же смешно и нелепо, как то, что море у древних круглые сутки тупо билось о берег, и заключенные в волнах силлионы килограмметров – уходили только на подогревание чувств у влюбленных. Мы из влюбленного шепота волн – добыли электричество, из брызжущего бешеной пеной зверя – мы сделали домашнее животное: и точно так же у нас приручена и оседлана когда-то дикая стихия поэзии. Теперь поэзия – уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия – государственная служба, поэзия – полезность».

Наши знаменитые “Математические Ноны”: без них – разве могли бы мы в школе так искренне и нежно полюбить четыре правила арифметики? А “Шипы” – это классический образ: Хранители – шипы на розе, охраняющие нежный Государственный Цветок от грубых касаний... Чье каменное сердце останется равнодушным при виде невинных детских уст, лепечущих как молитву: “Злой мальчик розу хватить рукой. Но шип стальной кольнул иголкой, шалун – ой, ой – бежит домой” и так далее? А “Ежедневные оды Благодетелю”? Кто, прочитав их, не склонится набожно перед самоотверженным трудом этого Нумера из Нумеров? А жуткие красные “Цветы Судебных приговоров”? А бессмертная трагедия “Опоздавший на работу”? А настольная книга “Стансов о половой гигиене”?

Вся жизнь во всей ее сложности и красоте – навеки зачеканена в золоте слов».

Здесь очевидна пародийная проекция, пародийное развитие идей стихотворения Маяковского «Поэт рабочий» (1918):

Мозги шлифуем рашпилем языка.

Кто выше – поэт

или техник,

который

ведет людей к вещественной выгоде?

Оба.

Сердца – такие ж моторы.

Душа – такой же хитрый двигатель.

....

Отгородимся от бурь словесных молот.

К делу!

Работа жива и нова.

А праздных ораторов –

на мельницу!

К мукомолам!

Водой речей вертеть жернова...

А также усиление идей платоновского «Государства» – не изгнание поэтов, а превращение их деятельности в государственную пользу.

А вот и конкретный пример из романа:

«А, вы тоже пишете для “Интеграла”? Ну, а скажите, о чем? Ну, вот хоть, например, сегодня».

– Сегодня – ни о чем. Другим занят был... – “Б” брызнуло прямо в меня.

– Чем другим?

Р сморщился:

– Чем-чем! Ну, если угодно – приговором. Приговор поэтизировал. Один идиот, из наших же поэтов... Два года сидел рядом, как будто ничего. И вдруг – на тебе: “Я, говорит, – гений, гений – выше закона”. И такое наляпал... Ну да что... Эх!»

И вот перед казнью поэта-преступника его сотоварищ по цеху читает стихи: «Резкие, быстрые – острым топором – хореи. О неслыханном преступлении: о кощунственных стихах, где Благодетель именовался... нет, у меня не поднимается рука повторить».

Замятин боролся с идеологией, перспективы которой он увидел лучше многих. Дело не в одной России, а в системе насилия, которое организует мир по правилам сумасшедшего дома. За год до романа он пишет: «Остричь все мысли под нолевой номер, одеть всех в установленный образец униформу; обратить еретические земли в свою веру артиллерийским огнем. Так османлисы обращали гяуров в истинную веру; так тевтонские рыцари мечом и огнем временным спасали язычников от огня вечного; так у нас, на Руси, лечили от заблуждений раскольников, молокан, социалистов. И не точно ли так же теперь? Константин Победоносцев умер – да здравствует Константин Победоносцев!»³⁵. Вообще возрождение русского великого инквизитора конца XIX века в советское время увидел не только Замятин, но и Маяковский в своей великой комедии «Баня», где зрителю и читателю является руководитель окружающего мира Победоносиков.

Замятин, конечно, родил не только «1984» Оруэлла, но и «Исправительную колонию» Кафки, и социальную фантастику – «Неукротимую планету» Гарри Гаррисона (о столкновении жителей города, отделивших себя стеной от жителей леса). Машина благодетеля неуловимо напоминает машину для наказания преступника в новелле Кафки. «Неизмеримая секунда. Рука, включая ток, опустилась. Сверкнуло нестерпимо-острое лезвие луча – как дрожь, еле слышный треск в трубках Машины. Распростертое тело – все в легкой, светящейся дымке – и вот на глазах тает, тает, растворяется с ужасающей быстротой. И – ничего: только лужа химически чистой воды, еще минуту назад буйно и красно бившая в сердце...» Но, если вспомнить, у Кафки машина вырезала на теле преступника его приговор. А вот, скажем, прямое предложение Кафке: «Когда вошел R-13 (поэт. – В. К.), я был совершенно спокоен и нормален. С чувством искреннего восхищения я стал говорить о том, как великолепно ему удалось хореизировать приговор и что больше всего именно этими хореями был изрублен, уничтожен тот безумец.

–...И даже так: если бы мне предложили сделать схематический чертеж Машины Благодетеля, я бы непременно – непременно как-нибудь нанес на этом чертеже ваши хореи, – закончил я».

У В. И. Мильдона есть тонкое замечание о сути утопии – она магична: «Психо- и гносеологические предпосылки утопии уходят в те слои человеческой природы, где возникают многообразные формы магических представлений. Утопия – та же магия: благое (вымышленное) место наделяется свойствами, каких нет у окружающего. Только потому, что эти свойства воображаемы, они могут (таково магическое условие) сделаться действительными. Стоит *подумать*, и мыслимое воплотится. Вероятно, этим вызвано то, что грядущее (место, которого нет) наделялось признаками, свойственными теперешней жизни (месту, которое есть). Это место не понималось *другим*, в нем лишь устранялись дефекты, в соответствии с магической практикой»³⁶. Но это именно утопия. В романе Замятина «Мы» изображен шаржированный магизм утопии. Скажем, даже прогулка в Едином Государстве выглядит как магическое действие: «Мы шли так, как всегда, то есть так, как изображены воины на ассирийских памятниках: тысяча голов – две слитных, интегральных ноги, две интегральных, в размахе, руки. В конце проспекта – там, где грозно гудела аккумулирующая башня – навстречу нам четырехугольник: по бокам, впе-

реди, сзади – стража. <...> Огромный циферблат на вершине башни – это было лицо: нагнулось из облаков и, сплевывая вниз секунды, равнодушно ждало». Но особенно это магически-ритуальное действие видно в описании Дня Единогласия: «Когда перед началом все встали и торжественным медленным положом заколыхался над головами гимн – сотни труб Музыкального Завода и миллионы человеческих голосов, – я на секунду забыл все: забыл что-то тревожное, что говорила о сегодняшнем празднике I, забыл, кажется, даже о ней самой. <...> Все глаза были подняты туда, вверх: в утренней, непорочной, еще не высохшей от ночных слез синеве – едва заметное пятно, то темное, то одетое лучами. Это с небес нисходил к нам Он – новый Иегова на аэро, такой же мудрый и любяще-жестокий, как Иегова древних. С каждой минутой Он все ближе, – и все выше навстречу ему миллионы сердец, – и вот уже Он видит нас. И я вместе с ним мысленно озираю сверху: намеченные тонким голубым пунктиром концентрические круги трибун – как бы круги паутины, осыпанные микроскопическими солнцами (– сияние блях); и в центре ее – сейчас сядет белый, мудрый Паук – в белых одеждах Благодетель, мудро связавший нас по рукам и ногам благодетельными тенетами счастья». Для контрutoпии Замятина это выявление сути псевдоразумности описываемого им мира.

Корень из минус единицы

И в какой-то момент строитель «Интеграла» Д-503 вдруг понимает, что то, что он называл знанием, не что иное как вера, т. е. мнимое знание, которое хуже, чем простая вера: «Вечер. Легкий туман. Небо задернуто золотисто-молочной тканью, и не видно: что там – дальше, выше. Древние знали, что там их величайший, скучающий скептик – Бог. Мы знаем, что там хрустально-синее, голое, непристойное ничто. Я теперь не знаю, что там я слишком много узнал. Знание, абсолютно уверенное в том, что оно безошибочно, – это вера. У меня была твердая вера в себя, я верил, что знаю в себе все. И вот –». Но он не знал, он боялся узнать, потому что это знание запрещалось Единым Государством. Речь идет о корне из минус единицы. Мнимое знание пугается мнимого числа.

«Однажды Пляпа рассказал об иррациональных числах – и, помню, я плакал, бил кулаками об стол и вопил: “Не хочу $\sqrt{-1}$! Выньте меня из $\sqrt{-1}$!” Этот иррациональный корень врос в меня как что-то чужое, инородное, страшное, он пожирал меня – его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне *ratio*». И герой все силы своего ума прилагает к тому, чтобы как бы вычеркнуть возможность иррационального из жизни. Но тут стоит вспомнить классическое определение знаменитого немецкого социолога: «Постепенно всем становится ясно, что, после того как нам стали известны бессознательные мотивы нашего поведения, уже невозможно жить так, как мы жили раньше, когда мы ничего не знали о них»³⁷.

По справедливому наблюдению отечественной исследовательницы, «мнимые числа не остались без внимания в культуре XX века, став из математической, скорее, культурно-философской проблемой. “Корень из минус единицы” символично прошел сквозь весь прошлый век»³⁸. Не будем перебирать многих, писавших об этом. Достаточно сослаться здесь на Шпенглера. Шпенглер писал, что иррациональное число антиэллинстично, что «с введением мнимых ($\sqrt{-1} = i$) и комплексных чисел <...> были разрушены последние остатки антично-популярной осязаемости. <...> Выражения типа $x + y i$ находятся уже за пределами возможностей античного мышления»³⁹. Иррациональных чисел боится и герой романа. Это говорит о том, что он находится в пределах платоновской античной утопии. Более того, он хочет весь мир свести к простым арифметическим законам: «Таблица умножения мудрее, абсолютнее древнего Бога: она никогда – понимаете: никогда – не ошибается. И нет счастливее цифр, живущих по стройным вечным законам таблицы умножения. Ни колебаний, ни заблуждений. Истина – одна, и истинный путь – один; и эта истина – дважды два, и этот истинный путь – четыре. И разве не абсурдом было бы,

если бы эти счастливо, идеально перемноженные двойки – стали думать о какой-то свободе, т. е. ясно – об ошибке?»

Весь большевизм и затем нацизм были чудовищными *аисторическими попытками* уйти из пределов современности и вернуться в классическую эллинскую эпоху, где мнимые числа оставались (куда уже им было деться!), на них, собственно, и строились тоталитарные структуры, которые в этом никогда бы не признались. Ведь, несмотря на возврат к Арминию, нацисты имели классическую основу образования, на которой строилась немецкая школа. Да и Арминий – это оборотная сторона римских легионов. Любая попытка обнаружить это каралась смертью.

Разум, который делает вид, что иррационального не существует (уже после того, как оно открыто), который не включает его в новую суперсистему, сходит с ума от сверхнапряжения, пытаясь иррациональное выдать за рациональное, тем самым становится сам иррациональным. Сошлюсь снова на классическую работу Манхейма, отметившего именно эту особенность тотальной «разумности»: «Нет ничего более потустороннего, чем рациональная замкнутая система, нет ничего, что при известных обстоятельствах таило бы в себе такую иррациональную мощь, как строго ограниченные своими рамками мысленные построения»⁴⁰.

Для Замятина попытка построить непротиворечивую систему мира вызывает только иронию, раз это не получилось даже у Бога. Он писал: «Итак, большевики строят рай на земле». Еретик-ироник Замятин в 1921 г. пишет заметку «Рай»: «Кажется, никому не приходило в голову, что стержневое безвкусие вселенной – в поразительном отсутствии монизма: вода и огонь, горы и пропасти, праведники и грешники. Какая точная простота, какое было бы не омраченное ни единой мыслью счастье, если бы Он сразу создал единую огневоду, если бы Он сразу избавил человека от дикого состояния свободы? В полифонии всегда есть опасность какофонии. Ведь знал же Он, учреждая Рай: там только монофония, только свет <...> Мы, несомненно, живем в эпоху космическую – создания нового неба и новой земли. И, разумеется, ошибки Иалдабаофа мы не повторим; полифонии, диссонансов – уже не будет: одно величественное, монументальное, всеобъемлющее единогласии»⁴¹.

Но без диссонансов мир не существует, Замятин об этом все время пишет, без сатаны не было бы движения. Есть он и в мире Единого Государства. Но к этой отрицательной силе он тоже весьма скептически относится.

Теперь нельзя не перейти к героине, выступающей как Мефистофель этого мира. **Замятин откровенен в своих рисунках образов. Женщина и дана как Мефистофель:** «Опять опустила глаза в письмо – и что там у ней внутри за опущенными шторами? Что она скажет – что сделает через секунду? Как это узнать, вычислить, когда вся она – от туда, из дикой, древней страны снов.

Я молча смотрел на нее. Ребра – железные прутья, тесно... Когда она говорит – лицо у ней как быстрое, сверкающее колесо: не разглядеть отдельных спиц. Но сейчас колесо – неподвижно. И я увидел странное сочетание: высоко вздернутые у висков темные брови – насмешливый острый треугольник, обращенный вершиною вверх – две глубокие морщинки, от носа к углам рта. И эти два треугольника как-то противоречили один другому, клали на все лицо этот неприятный, раздражающий X – как крест: перечеркнутое крестом лицо».

В своей «Современной утопии» Уэллс написал о Платоне (вернемся и мы к нему): «Платон противопоставил семейной близости и теплоте домашнего очага поэтическую приверженность идеалу общественности, чего Аристотель, как показывает его критика Платона, понять не мог. Но в то время как церковь противопоставила семье вечное детство и участие в церковной организации, Платон как бы предвидел современные нам взгляды и понимал невыгодность лишения потомства наиболее благородных представителей человеческого рода. Он нашел исход в многоженстве, или, вернее, в многобрачии, так как каждый представитель правящего класса в его Утопии считался состоящим в браке со всеми представителями того же класса, но описание системы он только наметил, и на-

метил довольно слабо». **Замятин прорисовал ярко и пластично, художественно решив лишь намеченное Платоном многобрачие. Речь идет о талонах на секс услуги.** «Так вот. Какой-то из древних мудрецов, разумеется, случайно, сказал умную вещь: “Любовь и голод владеют миром”. Ergo: чтобы овладеть миром – человек должен овладеть владыками мира. Наши предки дорогой ценой покорили, наконец, Голод: я говорю о Великой Двухсотлетней Войне – о войне между городом и деревней. Вероятно, из религиозных предрассудков дикие христиане упрямо держались за свой “хлеб”*. Но в 35-м году – до основания Единого Государства – была изобретена наша теперешняя, нефтяная пища. Правда, выжило только 0,2 населения земного шара. Но зато, очищенное от тысячелетней грязи, каким сияющим стало лицо земли. И зато эти ноль целых и две десятых вкусили блаженство в чертогах Единого Государства. <...> Естественно, что, подчинив себе Голод (алгебраический сумме внешних благ), Единое Государство повело наступление против другого владыки мира – против Любви. Наконец, и эта стихия была тоже побеждена, т. е. организована, математизирована, и около 300 лет назад был провозглашен наш исторический “Lex sexualis”: “всякий из номеров имеет право – как на сексуальный продукт – на любой номер”».

Поразительно, что в личные дела героя тоталитарное государство не лезет. Хотя именно о тоталитарном времени Ханна Арендт писала, что «история знает немало эпох, когда пространство публичности помрачается и мир становится таким сомнительным, что люди хотят от политики только одного – чтобы она хотя бы уважала их жизненные интересы и личную свободу»⁴³. Конечно, государство знает, когда и с кем номер такой-то предается сексуальным утехам. Но против любви оно бессильно. Более того, героя преследуют не за любовь (как у Оруэлла), а лишь желая, чтобы он рассказал о предводительнице восстания против государства, даже по-своему жалея героя, которого эта женщина I-330 использовала в своих революционных интересах. Сюжет, знакомый Замятину по его революционной юности.

Герой оказывается между двух сил – Единым Государством во главе с Благодетелем и готовящими восстание, предводительница которого I-330 влюбляет его в себя, спит с ним, чтобы космический корабль, который он строит, стал оружием восставших. Он влюблен в нее до самой сердцевины своего существа, ради любимой отказывается от любящей его женщины (O-90). Она же легко сходится с разными нужными ей людьми, включая хранителей. Вот он видит ее первый раз: «Направо от меня – она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I-330 (вижу теперь ее номер); налево – O, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке, и с краю нашей четверки – неизвестный мне мужской номер – какой-то дважды изогнутый вроде буквы S». А чуть позже, понимает, кто этот дважды изогнутый: «Да, кстати, теперь вспомнил: этот вчерашний, дважды изогнутый, как S, – кажется, мне случалось видеть его выходящим из Бюро Хранителей. Теперь понимаю, отчего у меня было это инстинктивное чувство почтения к нему и какая-то неловкость, когда эта странная I при нем... Должен сознаться, что эта I...» Более того, он понимает, но как бы запрещает себе понимать о ее связях с доктором, с Хранителем, но все же мысли прорываются: «Она смеялась. Но мне ясно был виден ее нижний скорбный треугольник: две глубоких складки от углов рта к носу. И почему-то от этих складок мне стало ясно: тот, двоякоизогнутый, сутулый и крылоухий – обнимал ее – такую... Он...» И последний раз, когда он думает, что все между ними кончено, ведь она скрывается, она вдруг является к нему и снова соблазняет героя, буквально кладет D-503 на себя. Зачем? А затем, чтобы выяснить, что ему говорил Благодетель. Он рассказывает ей все, ничего не рассказав Благодетелю. Это и есть его реальное поражение. Но и она не односложна, она спасает O-90, беременную от героя. За этот проступок O подлежала быть уничтоженной Машиной Благодетеля, но I-330 переправляет O-90 за Зеленую Стену, окружающую Единое Государство, где она может спокойно родить. В мужестве I-330 Замятин тоже не отказывает, она переносит пытку, никого не выдав.

Шкловский попытался противников Единого Государства принизить хотя бы эстетически: «Люди, борющиеся с уравнениями, называют себя “Мефи”, сокращенно от Мефистофеля, потому что Мефистофель означает неравенство⁴⁴.

Они и поклоняются этому Мефистофелю. Да еще статуе работы Антокольского.

Напрасно.

Нет в мире вещей хуже Антокольского. Несмотря на присутствие в “Мы” ряда удачных деталей, вся вещь совершенно неудачна и является ярким указанием того, что в своей старой манере Замятин достиг потолка⁴⁵. Грубая наглость Шкловского удивительна, ленинская, по сути. Это чистейшее ниспровержение культуры пришедшим Хамом. От него идет и стилистика современных постмодернистов.

То, что прототипы были в реальной действительности, сомнений нет. Это период крестьянских восстаний, восстаний левых эсеров, не желавших принимать большевиков. Так кто? Левые эсеры? Переход к социализму из крестьянской общины, антигородская направленность. Впрочем, левые эсеры вызывали у Замятина такую же брезгливость, как и движение «Мефи», противостоявшее Единому Государству. В 1918 г. он написал: в газете «Дело народа»: «Когда лакея бьют в морду, он жалок, когда лакей бьет в морду, он гнусен. Левые эсеры прекрасно поняли первое и отказались разделять ответственность советской власти за иностранную политику. Но настоящий момент – новой эпидемии расстрелов советскими войсками рабочих, арестов советской полицией рабочих, закрытие советской цензурой газет, – этот момент левые эсеры сочли как раз подходящим, чтобы занять правительственные посты в Петроградской Коммуне и разделить ответственность советской власти за битье в морду⁴⁶. Дружба руководителей Мефи с Хранителями уж очень напоминала близость эсеров чекистам.. А, может, не надо искать политические прототипы, не надо, скажем, видеть в I-330 Марию Спиридонову. Просто здание Единого Государства жило на mine Мефистофеля. Рано или поздно эта мина должна была взорваться. Мы, свидетели крушения Советской власти, наблюдали этот взрыв. Но, как и полагал автор романа, ничего хорошего за этим не последовало. После Благодетеля к власти пришли Хранители. Иными словами, перед нами мощное художественное обобщение, которое обладало не только отражательным, но и прогностическим смыслом.

В защиту разума

Замятин пересказывает с одобрением Уэллса: «Цель переустройства – ввести в жизнь начало организующее – *ratio* – разум. И потому особенно крупную роль в этом переустройстве Уэллс отводит классу “able men” – классу “способных людей” и прежде всего образованным, ученым техникам. Эту теорию он выдвигает в своих “Прозрениях”. Еще более любопытную – и, надо добавить, более еретическую окраску – эта мысль приобретает в его “Новой Утопии”, где руководителями новой жизни являются “самураи”, где новый мир предстает нам в виде общества, построенного до известной степени на аристократических началах, руководимого духовной аристократией⁴⁷.

Вряд ли поклонник Уэллса, поклонник сторонника рации, разума, ученых, техников, сам ледоколостроитель мог напасть в романе «Мы» на разум. Нападение было на извращение разума. И здесь, можно сказать, он совпадал с мнением русских философов-эмигрантов, видевших в новом мире то травестию христианского мифа, то лжехристианскую веру⁴⁸, а то и просто коллективное безумие. Абсолютно совпадает с размышлениями Замятина очень выразительная мысль Федора Степуна: «Вся острота революционного безумия связана с тем, что в революционные эпохи *сходит с ума сам разум* (курсив мой. – В. К.); и вся глубина революционной разрухи – с тем, что все революции стремятся к высшей гармонии⁴⁹. Безумие разума в этом новом мире очень чувствуется, если мы вслушаемся в речь рассказчика: «И вот, так же, как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни, увидел все: непреложные прямые

улицы, брызжащее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. И так: будто не целые поколения, а я – именно я – победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин...» Это, конечно, речь безумца с манией величия («победил Бога», создал новый мир), но который чувствует себя не вписанным в пространство и боится его разрушить. Он пытается спрятаться от своего иррационального в столь же безумное радио. Радио слишком тесно связано с иррациональным. Не случайна устойчивая точка зрения обывателей, что в психиатры идут потенциальные сумасшедшие, которые и науку превращают в безумие.

Г. В. Флоровский писал: «Утопические идеалы всегда имеют абстрактный характер. Как бы они ни были связаны с историческими и житейскими впечатлениями, отражение которых почти всегда нетрудно в них распознать, построятся они силой отвлечения»⁵⁰. То есть можно сказать, что утопия аисторична, антиутопия (или контрутопия, если угодно) исторична, поскольку поневоле предсказывает (как у Замятина) возможное будущее, либо показывает (как у Оруэлла) реальное историческое настоящее. Для Замятина реальностью был военный коммунизм. Замятин с ним боролся, поэтому писал не антиутопию, а контрутопию, направленную против тогдашней действительности в ее идеологическом преломлении.

Томас Мор, называя свою книгу «Утопией», имел в виду, что проект Платона прекрасен, но неосуществим. Потом, начиная с Кампанеллы, все писали – и прекрасен, и осуществим. Один из лучших интерпретаторов проявления утопического сознания в реальной жизни XX столетия был Семен Франк. Он писал: «Под утопизмом мы разумеем не общую мечту об осуществлении совершенной жизни на земле, свободной от зла и страдания, а более специфический замысел, согласно которому совершенство жизни может – а должно быть как бы автоматически обеспечено неким общественным порядком или организационным устройством; другими словами, это есть замысел спасения мира устрояющей самочинной волей человека. В этом качестве утопизм есть типический образец ереси в точном и правомерном смысле этого понятия – именно такого искажения религиозной истины, которое увлекает человека на ложный и потому гибельный путь. Цель, которая здесь ставится, невозможна не просто потому, что никакой идеал не осуществим в его абсолютной полноте и чистоте; она невозможна, потому что содержит в себе, как мы постараемся показать ниже, внутреннее противоречие. Пока этот замысел остается только мечтой – как в «утопиях» Платона, Кампанеллы и Томаса Мора, – его внутренняя противоречивость, и потому ложность и гибельность самого стремления к нему, остаются скрытыми. Они обнаруживаются только на практике, когда этот идеал овладевает волей, т. е. делается попытка осуществить его в согласии с самим его содержанием, именно мерами внешне-организационными, т. е. через принудительное водительство человеческим поведением; и именно тогда обличается *нравственное безумие* (курсив мой. – В. К.), т. е. порочность самой устрояющей воли, первоначально руководимой благим побуждением»⁵¹.

Замятин взял ситуацию еще благих помыслов военного коммунизма, когда жестокость их реализации еще вроде бы не затемняла самих идеалов, утописты верили, что скоро благие помыслы принесут благие результаты, которые вымостят дорогу в рай. Поразительно, что в Едином Государстве благие помыслы вроде бы реализованы, нет массовых расстрелов, как в период военного коммунизма, нет массового голода, нет страха перед будущим. Уцелевшее человечество рвется к иным мирам, в космос, но не очень понятно с добром или нет. Хотя строитель считает, что с добром, но свой «Интеграл» он называет почему-то «огненный Тамерлан счастья». В той системе, где отсутствует свобода индивида, где считается, что «инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку», «где введены в русло все стихии – никаких катастроф не может быть», возникает поразительная концепция: «или счастье без свободы – или свобода без счастья, третьего не дано». Это, конечно, внутренняя цитата из главы о великом инквизиторе у Достоевского.

Но с новым пониманием. Великий инквизитор думал о спасении слабых⁵². Благодетель говорит о себе, как о палаче, причем как о само собой разумеющемся обстоятельстве: «Палач? <...> Что же? Вы думаете – я боюсь этого слова?» Это и есть прогностический взгляд Замятина на реализуемую большевиками в жизни утопическую и неисполнимую мечту. Он понял самое важное: не только в реальности, но и в утопическом мире править будут палачи-благодетели. Так и получилось. Я бы сказал, что в своей контр утопии Замятин изобразил будущее, не так, как его задумывали творцы, а так, как оно должно было развернуться и уже разворачивалось – в безумии разума. Здесь даже любовь не противостоит государству, её либо нет, либо это мнимая величина, корень из минус единицы, которого так боялся герой романа, не в силах ввести его в свое понимание мира. Но это нечто иное, чем контр утопия Оруэлла, писавшего о реальности тоталитарного мира.

Примечания

¹ Замятин Евг. «Грядущая Россия» // Замятин Е. И. Я боюсь. Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. М. : Наследие, 1999. С. 60.

² Оруэлл Джордж. Рецензия на «Мы» Е. И. Замятина. – URL: http://orwell.ru/library/reviews/zamyatin/russian/r_zamy.

³ Там же.

⁴ Шкловский Виктор. Потолок Евгения Замятина // Шкловский В. Б. Гамбургский счет : Статьи, воспоминания, эссе (1914–1933). М. : Советский писатель, 1990. С. 258.

⁵ Уэллс Герберт. Россия во мгле. М. : Госполитиздат, 1958. С. 11–12.

⁶ Система ГУЛАГа и шарашек, т. е. творчества под страхом смерти, еще не была разработана. Это более позднее социальное открытие.

⁷ Замятин Евгений. Беседы еретика // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 47.

⁸ Достоевский Ф. М. Зимние заметки о летних впечатлениях // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. Т. 5. Л. : Наука, 1973. С. 69–70.

⁹ Артемьева Т. В. От славного прошлого к светлому будущему. Философия истории и утопия в России эпохи Просвещения. СПб. : Алетейя, 2005. С. 9.

¹⁰ Там же. С. 10.

¹¹ Храмов Александр. Антиутопия и царство антихриста в романе Замятина «Мы». – URL: <http://www.foru.ru/slovo.3960.1.html>.

¹² Мильдон В. И. Санскрит во льдах, или возвращение из Офира. Очерк русской литературной утопии и утопическое сознание. М.: РОССПЭН, 2006. С. 41.

¹³ Мор Томас. Золотая книга, столь же полезная, сколь и забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове УТОПИИ // Эразм Роттердамский. Воспитание христианского государя. М. : Мысль, 2001. С. 274.

¹⁴ Жители Утопии «благодаря Гитлодею, знакомы с греческими авторами и быстро научились понимать их, тем более, что сами происходят от греков» (Свентоховский А. История утопий. М.: Типография В. М. Саблина, 1910. С. 51). Начиная с названия острова Утопия, т. е. места, которого нет (раньше «он назывался Абракса», т. е. неизреченное имя), имени рассказчика Гитлодей, происходящее от слова «гитлос» (болтовня); то есть перед нами болтун, далее назвния главного города, имеющего два варианта – Амаурот (темный, неназываемый, т. е. тоже отрицает его существование) и Ментриано (происходящий от латинского глагола *mentri* – лгать), Мор показывает всю фиктивность этого государства: река Анидра, т. е. река без воды, глава государства, называемый адем, т. е. несуществующий народ, или «анемолийские послы» («анемолийский» – от греческого «ветренный», в переносном смысле несуществующий, мнимый) и т. д.

¹⁵ Мильдон В. И. Санскрит во льдах, или возвращение из Офира. С. 105. В России существовала длительная традиция неприятия социальных идей Платона – от Чернышевского до С. М. Соловьева. Этой традиции принадлежит и Замятин. Скажем, Соловьев

видел идею Платона в историческом контексте. Он писал в работе 1858–1859 гг.: «Когда греки, в конце своего блестящего, но одностороннего развития, не могли сладить с прогрессом, то и у них, у лучших людей, у лучших умов между ними, явился протест против прогресса, который преимущественно обнаружился в политических сочинениях Платона (“Государство” и “Законы”). Здесь высказалось стремление возвратить общество к первоначальной простоте, единству, остановить дальнейшее движение, развитие личных отношений, личных способностей, личных средств, и высшим идеалом поставлено то общество, в котором у человека отняты семейство и собственность¹⁵, два могущественных двигателя при развитии силы человека. Понятно, что мысль о подобном общественном устройстве могла явиться в языческом мире, когда господствовал самый низкий взгляд на достоинство человека» (Соловьев С. М. Исторические письма // Соловьев С. М. Соч. В 18 книгах. Кн. XVI. Работы разных лет. М. : Мысль, 1995. С. 356).

¹⁶ Там же. С. 51.

¹⁷ Кондаков И. В., Шнейберг Л. Я. Русская литература XX века. Кн. 1. М. : Новая волна, 2003. С. 359.

¹⁸ Там же. С. 347.

¹⁹ Шмитт Карл. Духовно-историческое состояние современного парламентаризма // Шмитт Карл. Политическая теология. М. : КАНОН-пресс-Ц, 2000. С. 237–238.

²⁰ Замятин Евгений. Скифы ли? // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 23.

²¹ Замятин писал: «Несчастный, лысый старик Сократ. У него – только слово; против него – тысячи тяжеловооруженных. Но он один против тысяч был страшен: ему дали цикуты» (Замятин Евгений. Они правы // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 42).

²² Надо сказать, имя Канта поминается в романе не раз, и всегда с негативным оттенком. Вот еще пример: «У нас эту математически-моральную задачу в полминуты решит любой десятилетний нумер; у них не могли – все их Канты вместе (потому, что ни один из Кантов не догадался построить систему научной этики, т. е. основанной на вычитании, сложении, делении, умножении)».

²³ Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение? // Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. Т. 1. М.: камі, 1994. С. 127.

²⁴ Аверинцев С. С. Похвальное слово филологии // Юность. 1969. № 1. С. 99.

²⁵ Замятин Евг. Завтра // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 49.

²⁶ Чаадаев П. Я. Философические письма // Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М. : Современник, 1987. С. 35.

²⁷ Валентинов Н. Два года с символистами. М. : Издательский дом XXI век – Согласие, 2000. С. 150.

²⁸ Там же. С. 150–151.

²⁹ Там же. С. 154.

³⁰ Тут уже можно увидеть и одинаковую одежду замятинской контрUTOпии («юнифу»), понимание героя, что он заболел, когда начал видеть свои сны и обрел настоящую душу, соответствующие каждому номера и т. д.

³¹ Там же. С. 158-159.

³² Чужак Н. Писательская памятка // Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М. : Захаров, 2000. С. 15.

³³ Левидов Мих. Организованное упрощение культуры // Левидов Мих. Простые истины (о читателе, о писателе). М. ; Л. : Издание автора, 1927. С. 156.

³⁴ Там же. С. 190.

³⁵ Замятин Евгений. Скифы ли? // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 27.

³⁶ Мильдон В.И. Санскрит во льдах, или возвращение из Офира. С. 10.

³⁷ Манхейм Карл. Идеология и утопия // Манхейм Карл. Диагноз нашего времени. М. : Юрист, 1994. С. 42.

³⁸ Киселева Мария. Роббер Музиль : тело и слово как способ познания героев // Вопросы литературы. 2009. № 3. С. 350.

³⁹ Шпенглер Освальд. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. Гештальт и действительность. М. : Мысль, 1993. С. 231.

⁴⁰ Манхейм Карл. Идеология и утопия // Манхейм Карл. Диагноз нашего времени. М. : Юрист, 1994. С. 185.

⁴¹ Замятин Евг. Рай // Замятин Е.И. Я боюсь. С. 53.

⁴² Уэллс Герберт. Современная утопия. С. 189.

* Это слово у нас сохранилось только в виде поэтической метафоры: химический состав этого вещества нам неизвестен.

⁴³ Арендт Ханна. Люди в темные времена. М. : Московская школа политических исследований, 2003. С. 21.

⁴⁴ Этимология Шкловского весьма сомнительна. Как известно, имя Мефистофель возможно, греч. происхождения – «ненавидящий свет», от *me* – не, *phos* – свет и *philos* – любящий; по др. версии, древнеевр. происхождения – от *мефиц* – распространяющий (разносящий) и *тофель* – скверна, грех. В Библии оно не фигурирует. Появилось, скорее всего, в эпоху Ренессанса.

⁴⁵ Шкловский Виктор. Потолок Евгения Замятина // Шкловский В. Б. Гамбургский счет : Статьи, воспоминания, эссе (1914–1933). М. : Советский писатель, 1990. С. 259.

⁴⁶ Замятин Евгений. О лакеях // Замятин Е. И. Я боюсь. С. 38.

⁴⁷ Замятин Е. И. Герберт Уэллс // Замятин Е. И. Избр. произв. : в 2 т. Т. 2. М. : Худож. лит., 1990. С. 306. В недавнем издании эта книга переведена как «Современная утопия».

⁴⁸ Благодетель, которого герой сравнивает с Иеговой, «хранители», то есть сотрудники спецслужб, которых рассказчик сравнивает с ангелами-хранителями. Враги системы сами берут себе наименование «Мефи».

⁴⁹ Степун Ф. А. Религиозный смысл революции // Степун Ф. А. Жизнь и творчество. Избранные сочинения. М. : Астрель, 2009. С. 486.

⁵⁰ Флоровский Георгий. Метафизические предпосылки утопизма // Флоровский Георгий. Из прошлого русской мысли. М. : Аграф, 1998. С. 273.

⁵¹ Франк С. Л. Ересь утопизма // Франк С. Л. По ту сторону правого и левого. Paris : YMCA-Press, 1972. С. 86–87.

⁵² См. об этом мою статью: Достоевский, Ницше и кризис христианства в Европе конца XIX – начала XX века // Вопросы философии. 2002. № 9. С. 54–67.

УДК 18.111.85:7.01

Наталья Алексеевна Терентьева
Челябинский государственный
педагогический университет

БАЛЕТ КАК ВИД ИСКУССТВА И ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ: СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ

В статье раскрываются основные сущностные характеристики балета как феномена культуры, анализируются ведущие культурологические подходы, необходимые для раскрытия сущности балетного искусства; определяется специфика культурологического прочтения балета как социокультурной системы.

Ключевые слова: балет, балетное искусство, синтез искусств, творчество, сценичность, зрелищность.

© Терентьева Н. А., 2011.